



## В. Я. БРЮСОВ

### Ф. И. Тютчев, смысл его творчества

#### I

Книжка в триста небольших стихотворений, из которых около трети переводных, четыре статьи да ряд писем, — вот все литературное наследие Тютчева. Но Фет, в своей надписи на сборнике стихов Тютчева, справедливо сказал столько раз после повторенные слова:

Муза, правду соблюдая,  
Глядит, и на весах у ней  
Вот эта книжка небольшая,  
Томов премногих тяжелей.

Поэзия Тютчева принадлежит к самым значительным, самым замечательным созданиям русского духа.

К поэзии Тютчева можно подходить с трех разных точек зрения: можно обратить внимание на выраженные в ней мысли, можно постараться выявить ее философское содержание, можно, наконец, остановиться на ее чисто художественных достоинствах. Со всех трех точек зрения поэзия Тютчева заслуживает величайшего внимания.

Для Тютчева, как сказал еще И. С. Аксаков, «жить — значит-ло мыслить»<sup>1</sup>. Не удивительно поэтому, что его стихи всегда полны мысли. В каждом его стихотворении чувствуется не только острый глаз и чуткий слух художника, но и ум мыслителя.

В целом ряде стихотворений Тютчева мысль даже стоит на первом месте. Это те его стихи, в которых он излагает свои излюбленные политические взгляды. Параллельно он развивал их в своих статьях. Эти взгляды образуют стройную систему

убеждений о провиденциальной роли славянства и России в судьбах мира и приближаются к учению славянофилов 40-х и 50-х годов. Более или менее исчерпываются эти взгляды Тютчева уверенностью, что России предстоит собрать воедино «славян родные поколенья» и образовать великое православное государство, спаянное единой верой и «любовью». Исполнение этого ожидания связано с темным «пророчеством» о том, что столицей славянского мира должна стать «возобновленная Византия», а ее святыней — христианский алтарь, вновь поставленный в святой Софии.

Пади пред ним, о Царь России,  
И встань как всеславянский Царь! —

воскликнул Тютчев в 1850 году, незадолго до Крымской войны.

Иногда у Тютчева мысль просто изложена в стихотворной форме, и это, бесспорно, самые слабые из его созданий («Тогда лишь в полном торжестве», «Ватиканская годовщина», «Хотя б она сошла с лица земного», «Славянам»). Чаще у Тютчева мысль облекается в образ, становится символом («Смотри, как запад загорелся», «Море и утес», «Рассвет», «Ужасный сон отяготел над нами»). Некоторые из таких стихотворений говорят даже больше, чем хотел сказать сам поэт. Так, например, в образах «моря» и «утеса» Тютчев думал представить бессилие революционных сил перед мощью русского мира. Но мы вправе подставить под это стихотворение иное, более широкое содержание, и стихи не утратят для нас своего очарования.

Отдельно стоят стихотворные раздумия Тютчева, не связанные с какими-либо политическими событиями. Это, по большей части, размышления по поводу вековых загадок мира и человеческой жизни («Через Ливонские я проезжал поля», «Близнецы», «Два голоса», «Две силы есть, две роковые силы», «Природа — Сфинкс», «По дороге во Вщиж»). Их строфы, двустипхи и отдельные стихи образуют блестящие афоризмы, давно пошедшие в обиход русской речи. Кто, например, не знает таких выражений, как: «Мысль изреченная есть ложь», «В Россию можно только верить», «День пережит, и слава Богу», любовь — «поединок роковой», природа «о днях былых молчит» и т. д. Такие же афоризмы порой вкраплены у Тютчева и в те стихи, в которых в целом над мыслью преобладает чувство.

Есть у Тютчева и два-три стихотворения, которые — как это обычно у французских поэтов XVIII века — держатся исключительно на остроумии, и среди них такое значительное, как «Я лютеран люблю богослуженье»...

Однако, как ни интересны, как ни замечательны те мысли, которые Тютчев прямо высказывает в своих стихах, мысли, продуманные им, осознанные, — гораздо замечательнее то сокровенное содержание его поэзии, которое вложено им в стихи «бессознательно», т. е. в силу тайной творческой интуиции. Это, так сказать, те подземные ключи, которыми питается его поэзия, которые ей дают ее несокрушимую силу и ее несравненную красоту. Тютчев в своих статьях, в своих рассудочных стихотворениях — остроумный, хотя немного парадоксальный диалектик; в метафизической основе своей поэзии Тютчев — глубокий мыслитель, самостоятельно, под своим углом зрения, освещающий тайны мира.

## II

Исходную точку мировоззрения Тютчева, кажется нам, можно найти в его знаменательных стихах, написанных «По дороге во Вщиж»:

Природа знать не знает о былом,  
 Ей чужды наши призрачные годы,  
 И перед ней мы смутно сознаем  
 Себя самих — лишь грезю природы.  
 Поочередно всех своих детей,  
 Свершающих свой подвиг бесполезный,  
 Она равно приветствует своей  
 Всепоглощающей и миротворной бездной.

Подлинное бытие имеет лишь природа в ее целом. Человек лишь «греза природы». Его жизнь, его деятельность — лишь «подвиг бесполезный». Вот философия Тютчева, его сокровенное мирозерцание. Этим широким пантеизмом объясняется едва ли не вся его поэзия.

Вполне понятно, что такое мирозерцание прежде всего приводит к благоговейному преклонению перед жизнью природы:

В ней есть душа, с ней есть свобода,  
 В ней есть любовь, в ней есть язык! —

говорит Тютчев о природе. Эту душу природы, этот язык и эту ее свободу Тютчев стремится уловить, понять и объяснить во всех ее проявлениях. С поразительным проникновением в тайны стихийной жизни изображает Тютчев и «Первую встречу

весны», и «Весенние воды», и «Летний вечер», и «Кротость осенних вечеров», и «Чародейкою зимою околдованный лес», и «Утро в горах», и «Полдень мгlistый», и «Ночные голоса», и «Светозарный месяц», и «Первую грозу», и «Грохот летних бурь», и «Радугу», и «Дождь», и «Зарницы»... Все в природе для Тютчева живо, все говорит с ним «понятным сердцу языком», и он жалеет тех, при ком леса молчат, пред кем ночь нема, с кем в дружеской беседе не совещается гроза.

Стихи Тютчева о природе — почти всегда страстное признание в любви. Тютчеву представляется высшим блаженством, доступным человеку, — любоваться многообразными проявлениями жизни природы. Его заветное желание — «в бездействии глубоком» весь день «пить весенний теплый воздух» да «следить на высоком небе облака». Он утверждает, что перед «цветущим блаженством мая» ничто самые утехи рая. Он говорит об «умильной прелести» осенних вечеров, об «обаятельной тайне» июньской ночи, об «ослепительной красе» оснеженного леса. О весне восклицает он: «что устоит перед дыханьем и первой встречей вёсны!», о радуге — «какая нега для очей!», о грозе — «люблю грозу в начале мая!», о море — «как хорошо ты, о море ночное!» Наконец, он и прямо исповедует свою любовь к природе в восторженных стихах:

Нет, моего к тебе пристрастья  
Я скрыть не в силах, мать-земля!

И не только «блаженство», «прелесть», «обаяние» видит Тютчев в явлениях природы, но и нечто высшее, чем человеческая жизнь, нечто божественное, святое. Весну он прямо называет «божеством» («Как ни гнетет рука судьбины»). Так же «божествами родными» называет он горные вершины. Монблан кажется ему «откровеньем неземным»; во вспышках зарниц угадывает он решение какого-то «таинственного дела»; даже осенняя дремота засыпающего перед зимой леса представляется ему «вещей». Вот почему «непорочные лучи» звезд противопоставляет он «смертным взглядам» людских безумных толп; вот почему высоты, на которых «смертной жизни места нет» и где «слышна лишь жизнь природы», считает он странами более «чистыми», нежели наш мир, — странами, где витают «ангелы» («Над виноградными холмами», «Хоть я и свил гнездо в долине»). Вот почему, также, странник, который отдался миру природы, становится лицом священным, «гостем благих богов».

Напротив, в жизни человеческой все кажется Тютчеву ничтожеством, бессилием, рабством. Для него человек перед при-

родой — это «сирота бездомный», «немогущий» и «голый». Только с горькой насмешкой называет Тютчев человека «царем земли» («С поляны коршун поднялся»). Скорее он склонен видеть в человеке случайное порождение природы, ничем не отличающееся от существ, сознанием не одаренных. «Мыслящий тростник» — вот как определяет человека Тютчев в одном стихотворении. В другом, как бы развивая эту мысль, он спрашивает: «Что ж негодует человек, сей знак земной?» О природе, в ее целом, Тютчев говорит определенно: «в ней есть свобода», в человеческой жизни видит он лишь «призрачную свободу». В весне, в горных вершинах, в лучах звезд Тютчев видит божества; напротив, о человеке говорит он:

...не дано ничтожной пыли  
Дышать божественным огнем.

Но человек не только — ничтожество, малая капля в океане природы, — он еще в ней начало дисгармонирующее. Человек стремится утвердить свою обособленность, свою отдельность от общей мировой жизни и этим вносит в нее разлад. Сказав о той певучести, какая «есть в морских волнах», о «стройном мусикийском шорохе», струящемся в камышах, о «полном созвучии» во всей природе, Тютчев продолжает:

Лишь в нашей призрачной свободе  
Разлад мы с нею создаем...

В другом, не менее характерном, стихотворении Тютчев изображает старую «итальянскую виллу», покинутую много веков назад и слившуюся вполне с жизнью природы. Она кажется ему «блаженной тенью, тенью елисейской»... Но едва вступил в нее вновь человек, как сразу «все смутилось», по кипарисам пробежал «судорожный трепет», замолк фонтан, слышался некий невнятный лепет. Тютчев объясняет это тем, что

злая жизнь, с ее мятежным жаром,  
Через порог заветный перешла.

Чтобы победить в себе «злую жизнь», чтобы не вносить в мир природы «разлада», надо с нею слиться, раствориться в ней. Об этом определенно говорит Тютчев в своем славословии весне:

Игра и жертва жизни частной,  
Приди ж, отвергни чувств обман

И ринься, бодрый, самовластный,  
 В сей животворный океан!..  
 И жизни божески-всемирной  
 Хотя на миг причастен будь!

В другом стихотворении («Когда что звали мы своим») он говорит о последнем утешении — исчезнут в великом «все» мира, подобно тому как исчезают отдельные реки в море. И сам Тютчев то восклицает, обращаясь к сумраку: «Дай вкусить уничтоженья, с миром дремлющим смешай!», то высказывает желание «всю потопить свою душу» в обаянии ночного моря, то, наконец, с великой простотой признается: «Бесследно все, и так легко не быть!»

Тютчев спрашивает себя:

Откуда, как разлад возник?  
 И отчего же в общем хоре  
 Душа не то поет, что море,  
 И ропщет мыслящий тростник!

Он мог бы и дать ответ на свой вопрос: оттого, что человек не ищет слияния с природой, не хочет «отвергнуть чувств обман», т. е. веру в обособленность своей личности. Предугадывая учение индийской мудрости, — в те годы еще мало распространенное в Европе, — Тютчев признавал истинное бытие лишь у мировой души и отрицал его у индивидуальных «я». Он верил, что бытие индивидуальное есть призрак, заблуждение, от которого освобождает смерть, возвращая нас в великое «все». Вполне определенно говорит об этом одно стихотворение («Смотри, как на речном просторе»), в котором жизнь людей сравнивается с речными льдинами, уносимыми потоком «во всеобъемлющее море». Они все там, большие и малые, «утратив прежний образ свой», сливаются «с роковой бездной». Тютчев сам и объясняет свое иносказание:

О, нашей мысли обольщенье,  
 Ты — человеческое я:  
 Не таково ль твое значенье,  
 Но такова ль судьба твоя!

Истинное бессмертие принадлежит лишь природе, в ее целом, той природе, которой «чужды наши призрачные годы». Когда «разрушится состав частей земных», все зримое будет покрыто водами, —

И Божий лик изобразится в них.

Даже любимые дети природы, не знающие с ней разлада: лес, река, поля, — приближаются к этому бессмертию. Им дана жизнь многих столетий. Они, словно «с берегов иного света», доходят до нас из прошлых веков («Через Ливонские я проезжал поля»). В далеком будущем они останутся такими же, каковы они сегодня:

Пройдут века,  
Так же будет в вечном строе  
Течь и искриться река  
И поля дышать на зное...

Между тем человека ждет полное исчезновение. «Всепоглощающей и миротворной бездной» приветствует природа «беспольный подвиг людей». «Бесследно все», — говорит Тютчев о судьбе людей и добавляет с безнадежностью:

то уйдет *всецело*,  
Чем ты дышишь и живешь...

Замечательно, что в пантеистическом обожествлении природы Тютчев-поэт как бы теряет ту свою веру в личное божество, которую со страстностью отстаивал он как мыслитель. Так, в ясный день, при обряде погребения, проповедь ученого, сановитого пастора о крови Христовой уже кажется Тютчеву только «умной пристойной речью», и он противопоставляет ей «нетленно-чистое» небо и «голосисто реющих в воздушной бездне» птиц. В другую минуту, «лениво дышащим полднем», Тютчеву сказывается и самое имя того божества, которому действительно служит его поэзия, — имя «великого Пана», дремлющего в пещере нимф... И кто знает, не к кругу ли этих мыслей относится странное восклицание, вырвавшееся у Тютчева в какой-то тяжелый миг:

Мужайся, сердце, до конца:  
И нет в творении творца,  
И смысла нет в мольбе!

### III

Из противоположения бессилия личности и всемогущества природы возникает страстное желание хотя на краткое мгновение заглянуть в тайные глубины космической жизни, в ту ее душу, для которой все человечество — лишь минутная греза. Тютчев это желание называет жаждою «слиться с беспредель-

ным» («О чем ты воешь, ветер ночной»). Ему кажется, что человеческая душа — «в узах заключенный дух», который «на волю просится и рвется» («Ю. Ф. Абазе»).

Отсюда — тяготение Тютчева к «древнему родимому хаосу». Этот хаос представляется ему исконным началом всякого бытия, из которого вырастает и сама природа. Хаос — сущность, природа — его проявление. Все те минуты в жизни природы, когда «за оболочкой зримой» можно узреть «ее самое», ее темную сущность, Тютчеву дороги и желанны.

Такие минуты чаще всего наступают в темноте ночи. Днем стихия хаоса незрима, так как между человеком и ею наброшен «покров златотканый», «золотой ковер», — все проявления жизни природы. Ночью этот ковер падает, и человек стоит

Лицом к лицу пред пропастью темной.

Тютчев добавляет: «Вот отчего нам ночь страшна». Но для него самого ночь была скорее соблазнительна. Он был уверен, что ночью, «в тиши всемирного молчанья»,

Живая колесница мирозданья  
Открыто катится в святилище небес.

Ночью можно подглядеть таинственную жизнь хаоса, потому что ночью в пристани оживает «волшебный челн» грезы, сновидения и уносит нас

В неизмеримость темных волн.

Не менее дороги Тютчеву те явления природы, в которых «хаотическое» выступает наружу, — и прежде всего гроза. Грозе посвящено несколько лучших стихотворений Тютчева. В беглых зарницах, загорающихся над землею, усматривал он взор каких-то «грозных зениц». Другой раз казалось ему, что этими зарницами ведут между собою беседу какие-то «глухонемые демоны», решающие некие «таинственное дело». Или, наконец, угадывал он гигантскую незримую пяту, под которой гнулись, в минуты летних бурь, лесные исполины. И, прислушиваясь к сетованиям ночного ветра, к его песням «про древний хаос, про родимый», сознавался Тютчев, что его ночная душа жадно

Внимает повести любимой...

Но не только во внешней природе можно подсмотреть хаос: таится он в самом человеке. Подобно тому как ночь, как гроза, как буря, как ночной ветер, влекло к себе Тютчева все хаоти-



ческое, что порою вскрывается в наших душах, в нашей жизни. Во всех основных проявлениях нашей жизни, в любви и в смерти, во сне и в безумии, открывал Тютчев священное для него начало хаоса.

Любовь для Тютчева не светлое, спасающее чувство, не «союз души с душой родной», как «гласит преданье», но «поединок роковой», в котором

Мы то всего вернее губим,  
Что сердцу нашему милей.

Любовь для Тютчева всегда страсть, так как именно страсть близит нас к хаосу. «Пламенно-чудесной игре» глаз Тютчев предпочитал «угрюмый, тусклый огонь желанья»; в нем находил он «очарование сильней». Соблазн тайной, запретной любви он ставил выше, чем «невозвратный румянец стыдливости», т. е. любовь «греховную» выше «невинной», и оправдывал свой выбор тем, что, полные, как бы кровью, своим соком, виноградные ягоды прекраснее, чем чистые, ароматные розы... Самую страсть Тютчев называл «буйной слепотой» и тем как бы отождествляет ее с ночью. Как слепнет человек во мраке ночи, так слепнет он и во мраке страсти, потому что и тут и там он вступает в область хаоса.

В то же время смерть для Тютчева, хотя он склонен был видеть в ней полное и безнадежное исчезновение, исполнена была тайного соблазна. В замечательном стихотворении «Близнецы» он ставит на один уровень смерть и любовь, говоря, что обе они «обворожают сердца своей неразрешимой тайной»:

И в мире нет четы прекрасней,  
И обаянья нет ужасней,  
Ей предающего сердца.

Может быть, этот соблазн смерти заставлял Тютчева находить красоту во всяком умирании. Он видел «таинственную прелесть» в светлости осенних вечеров, ему нравился «ущерб», «изнеможенье», «кроткая улыбка увяданья». «Как увядающее мило!» — воскликнул он однажды. Но он и прямо говорил о красоте смерти. В стихотворении «Mal'aria», любовно изобразив «высокую безоблачную твердь», «теплый ветер, колышущий верхи дерев», «запах роз», он добавляет:

...и это все есть смерть!

И тут же восклицает восторженно:

Люблю сей Божий гнев, люблю сие незримо  
Во всем разлитое таинственное зло...

Вместе со смертью влекло к себе Тютчева все роковое, все сулящее гибель. С нежностью говорит он о «сердце, жаждущем бурь». С такой же нежностью изображает душу, которая, «при роковом сознании своих прав», сама идет навстречу гибели («Две силы есть, две роковые силы»). В истории привлекают его «минуты роковые» («Цицерон»). В глубине самого нежного чувства усматривает он губительную, роковую силу. Любовь поэта должна погубить доверившуюся ему «деву» («Не верь, не верь поэту, дева»); птичка должна погибнуть от руки той девушки, которая вскормила ее «от первых перушек» («Не даром милосердым богом»), причем поэт добавляет:

Настанет день; день непреложный,  
Питомец твой неосторожный  
Погибнет от руки твоей.

И почти тоном гимна, столь для него необычным, Тютчев славит безнадежную борьбу с Роком человека, заранее осужденного на поражение:

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,  
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!  
Пускай Олимпийцы завистливым оком  
Глядят на борьбу непреклонных сердец!

В этом постоянном влечении к хаосу, к роковому для человека, Тютчев чувствовал свою душу «жилищем двух миров». Она всегда стремилась переступить порог «второго» бытия. И Тютчев не мог не задавать себе вопроса, возможно ли переступить этот порог, доступно ли человеку «слиться с беспредельным».

Уже в одном юношеском стихотворении («Проблеск») Тютчев дал отрицательный ответ на этот вопрос. Заглянуть в хаос можно лишь на краткое мгновенье:

Мы в небе скоро утаем,  
И не дано ничтожной пыли  
Дышать божественным огнем.

Развивая эту мысль, Тютчев приходит к выводу, что всякое человеческое знание обречено на недостоверность. Сущность бытия — хаос, тайна; человеку хаос недоступен; следовательно, мир для человека непостижим. Поэтическое выражение этой мысли Тютчев нашел в сравнении «смертной мысли» с фонтаном. Струя водомета может достигнуть лишь определенной,

«заветной» высоты, после чего осуждена «пылью огнецветной  
ниспасть на землю». То же и человеческая мысль:

Как жадно к небу рвешься ты,  
Но длань незримо-роковая  
Твой луч упорный, преломляя,  
Свергает в брызгах с высоты.

Отсюда был уже один шаг до последнего вывода: «Мысль изреченная есть ложь!» И Тютчев этот вывод сделал...

Но если «мысль», т. е. всякое рассудочное познание, есть ложь, то приходится ценить и лелеять все не-рассудочные формы постижения мира. И действительно, Тютчев с исключительным пристрастием относился к мечте, к фантазии, ко сну. Он говорит, что поэт в мире живет «как в царстве снов» («На камень жизни роковой»). Он клянет «рассудок», который «все опустошил» («А. Н. М.»). В стихотворении «Как океан объемлет шар земной» сны названы особой «стихией», неодолимо влекущей к себе человека. В замечательном стихотворении «Сон на море» Тютчев рисует новый мир, открывающийся в сновидениях: сады, лабиринты, чертоги, столпы, неведомые лица, волшебные твари, таинственные птицы... В послании «Е. Н. Анненковой» Тютчев прямо прославляет мир фантазии, в котором «Другую видим мы природу», говоря:

Все лучше там, светлее, шире,  
Так от земного далеко,  
Так розно с тем, что в нашем мире...

Наконец, в стихах о «Безумии» есть темное влечение к этому состоянию души, которое хотя и названо «жалким», но при котором все же возможно «мнить», что слышишь, угадываешь тайную жизнь природы...

Из сознания непостижимости мира вытекает другое — невозможность выразить свою душу, рассказать свои мысли другому:

Как сердцу высказать себя?  
Другому как понять тебя?  
Поймет ли он, чем ты живешь?

Как бессильна человеческая мысль, так бессильно и человеческое слово. Перед прелестью природы Тютчев живо ощущал это бессилие и сравнивал свою мысль с «подстреленной птицей». Не удивительно поэтому, что в одном из самых своих задушевных стихотворений он оставил нам такие суровые советы:

Молчи, скрывайся и таи  
И думы и мечты свои!  
Лишь жить в самом себе умей...

В полном согласии с этим своим учением, Тютчев говорил о себе:

Душа моя, элизиум теней!  
Что общего меж жизнью и тобою!

Это — второй полюс мирозерцания Тютчева. Отправляясь от принятия всех проявлений жизни, от восторженного «пристрастия» к матери-земле, Тютчев кончает как бы полным отрицанием жизни. Прекрасен мир, но истинная сущность его красоты не доступна человеку, который лишь напрасно порывается к ней. Так, «ива» своими «дрожащими листьями», «словно жадными устами», ловит беглую струю, которая безнадежно убегает мимо и «смеется» над ней...

«Мир дневной, в полном блеске проявлений» и «хаос ночной», «древний», «родимый», — вот те два мира, жилищею которых одновременно была душа Тютчева. Поэтому и лиры у Тютчева было две, впрочем, дивно согласованных между собою. Первая была посвящена поэзии, воспевающей «блеск проявлений» дневного мира, поэзии умиротворяющей, явной. Это о ней сказал Тютчев:

Она с небес слетает к нам,  
Небесная — к земным сынам,  
С лазурной ясностью во взоре,  
И на бунтующее море  
Льет примирительный елей.

Другая была посвящена хаосу и стремилась повторить «страшные лесин», изрывающие в сердце «порой неистовые звуки». Эта поэзия хотела говорить о роковом, о тайном, и ей, чтобы пробудиться, нужен был «онный час видений и чудес», когда душа теряет память о своем дневном существовании. О часе таких вдохновений говорит Тютчев:

Тогда густеет ночь, как хаос на водах,  
Беспамятство, как Атлас, давит сушу,  
Лишь Музы действенную душу  
В пророческих тревожат боги снах...

Таковы, в самых общих чертах, предпосылки поэзии Тютчева, частью несознанные им самим; таковы берега и подводные течения его творчества.

## IV

Что касается того внешнего выражения, какое нашла эта поэзия в стихах Тютчева, то прежде всего надо принять во внимание, что он воспитался на образцах немецкой поэзии. Гейне, Ленау, Эйхендорф, отчасти Шиллер, и, в очень сильной степени, царь и бог немецкой поэзии Гёте, — вот его главные учителя. Тютчев ценил Гюго, Ламартина, кое-кого еще из французов, но дух их поэзии, их «манера» были ему чужды. Поэзия Тютчева, в лучших своих созданиях, жива не метафорами и антитезами, как поэзия французская, но целостностью замысла и певучестью строфы, как поэзия немецкая...

У своих русских предшественников Тютчев почти ничему не учился. В ранних его стихах есть влияние Жуковского и, отчасти, Державина; позднее Тютчев кое-что воспринял у Пушкина. Но в целом его стих крайне самостоятелен, своеобразен. У Тютчева совершенно свои приемы творчества и приемы стиха, которые в его время, в начале XIX века, стояли вполне особняком. В этом, может быть, кроется причина того, что так долго не умели оценить поэзию Тютчева.

Самый любимый и вместе с тем совершенно самостоятельный прием творчества Тютчева состоит в проведении полной параллели между явлениями природы и состояниями души. В стихах Тютчева граница между тем и другим как бы стирается, исчезает, одно неприметно переходит в другое. Нигде не сказалось это так ясно, как в стихотворении «В душном воздухе молчанье», где предчувствие грозы, томление природы, насыщенной электричеством, так странно гармонирует с непонятным волнением девы, у которой «мутится и тоскует» влажный блеск очей. Столь же замечательны в этом отношении стихи «Слезы людские, о слезы людские» и «Дума за думой, волна за волной». Может быть, менее тонко, резче проведено сравнение в стихотворении «Фонтан». Нередко второй член сравнения у Тютчева опущен, и перед нами только символ, только образ из мира природы, а то, что ему соответствует в мире души, представляется угадать. Таковы стихи «Что ты клонишь над водами».

На этом совпадении явлений внешнего мира и мира внутреннего основана особенность эпитетов Тютчева. Пушкин умел определять предметы по существу; Тютчев стремился их определять по впечатлению, какое они производят в данный миг. Именно этот прием, который теперь назвали бы «импрессионистическим», и придает стихам Тютчева их своеобразное очарование, их магичность.

Сливая внешнее и внутреннее, Тютчев может говорить о «всемирном благовесте солнечных лучей», о «румяном, громком восклицаньи» утреннего луча, о том, как «небо протекло по жилам эфирною струею», как звезды «небесный свод приподняли своими влажными глазами», как «живые благовонья бродят в сумрачной тени», как «море баюкает сны тихоструйною волною». Этим объясняется, почему у Тютчева звезды — «чуткие», луна — «магическая», мгла — «очарованная», день — «как бы хрустальный», тьма — «гремящая», стан — «оправлен в магнит», голос жаворонка — «гибкий, резвый», сон — «волшебном-немой», час — «мертвый»; почему у него деревья «поют», воздух «растворен любовью», вершины (дерев) «бредят», лазурь «льется» (на отдыхающее поле), луна «очаровывает мглу». Этим объясняются и странные определения Тютчева в наречиях: край неба «дымно гаснет», что-то порхнуло в окно «дымно-легко, мглисто-лилейно», долина «вьется росисто», дубрава «дрожит широколиственно», фонтаны «брызжут тиховойно», золотой месяц «светит сладко», птицы «реют голосисто» и т. п.

Другой любимый прием Тютчева, которым, впрочем, он пользовался реже, состоит в сопоставлении предметов, по видимому, совершенно разнородных, и в стремлении найти между ними сокровенную связь. Характерно в этом отношении его стихотворение «Так здесь-то суждено нам было». Тютчев изображает всю роскошь южной страны, «где вечный блеск и ранний цвет» и где «поздних, бледных роз дыханьем декабрьский воздух разогрет», — и в этом краю, который он сам в другом месте назвал «раем», изображает последнее прощание двух любящих... Тот же прием находим мы в стихотворениях «Ma-l'aria» и «Пламя рдеет, пламя пышет». Встречаем мы его и в отдельных выражениях, где это приводит к так называемой «оксюморности»<sup>2</sup>. Так, Тютчев говорит, что «в волшебном сне он узнал» много «неведомых лиц», что ветер «понятным» языком твердит о «непонятной» муке, и т. д.

Самая форма стиха у Тютчева, при первом взгляде, кажется небрежной. Но это впечатление ошибочное. За исключением немногих (преимущественно написанных на политические злобы дня), большинство стихотворений Тютчева облечено в очень изысканные метры. Напомним, например, стихи «Грустный вид и грустный час». При беглом чтении не замечаешь в их построении ничего особенного. Лишь потом открываешь тайну прелести их формы. В них средние два стиха первой строфы (3-й и 4-й) рифмуются со средними стихами второй строфы (9-м и 10-м). Притом, чтобы ухо уловило это созвучие, разделенное

четырьмя стихами, Тютчев выбрал рифмы особенно полные, в которых согласованы не только буквы после ударяемой гласной, но и предыдущая согласная (которую французы называют *consonne d'appui*): «гробовой — живой», «тумана — Лемана». Примерами не менее утонченного построения могут служить стихотворения: «Поэзия», «Вдали от солнца и природы», «Слезы людские, о слезы людские», «Двум сестрам», «Венеция», «Первый лист», «Кончен пир, умолкли хоры».

Не меньше изысканности у Тютчева и в самом строении стиха. Он с величайшей заботливостью применял к своей поэзии все те вторичные средства изобразительности, которые были хорошо знакомы поэтам античным, но которыми пренебрегают многие из выдающихся современных поэтов. Так, он охотно употреблял внутренние рифмы и ассонансы, например: «В какой-то неге онеменья», «И ветры свистели и пели валы», «Кто скрылся, зарылся в цветах?», «И без вою и без бою», «Под вами немые, глухие гроба», «Неодолим, неудержим», «Неистоцимые, неисчислимы» и т. п. Понимал Тютчев и то значение, какое имеют в стихах аллитерации. Вот несколько более ярких примеров: «Как пляшут пылинки в полдневных лучах», «Ветрило весело звучало», «Объятый негой ночи», «Сладкий сумрак полусонья», «Тихий, томный, благовонный», «Земля зелене-ла»... Эта заботливость приводила Тютчева иногда к настоящим звукоподражаниям, как, например, в стихах: «Кругом, как кимвалы, звучали скалы», «Хлещет, свищет и ревет», «Блеск и движение, грохот и гром»...

Все это делает Тютчева одним из величайших мастеров русского стиха, «учителем поэзии для поэтов», как выразился А. Горнфельд<sup>3</sup>. В поэзии Тютчева русский стих достиг той утонченности, той «эфирной высоты» (слова Фета)<sup>4</sup>, которая до него не была известна. Рядом с Пушкиным, создателем у нас истинно классической поэзии, Тютчев стоит как великий мастер и родоначальник поэзии намеков. У Тютчева не было настоящих преемников, можно назвать лишь одного Фета, который, впрочем, развился без его непосредственного влияния. Только в конце XIX века нашлись у Тютчева истинные последователи<sup>5</sup>, которые восприняли его заветы и попытались приблизиться к совершенству им созданных образцов.

